

**Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по литературе
2024/2025 учебный год**

10 класс

Задание №1

Аналитическое задание

(целостный анализ поэтического ИЛИ прозаического текста – по выбору ученика)

Выполните целостный анализ стихотворения *Иосифа Александровича Бродского (1940–1996) «Presepio (Ясли)»*, приняв во внимание следующие аспекты его художественной организации: композиционные особенности произведения; ключевая идея стихотворения, подчёркивающая позицию автора и вырастающая из наблюдений над евангельской историей; основные художественные образы, их соотнесённость друг с другом; а также иные специфические элементы поэтики стихотворения.

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый, грамотный текст.

И. А. Бродский

PRESEPIO (ЯСЛИ)

Младенец, Мария, Иосиф, цари,
скотина, верблюды, их поводыри,
в овчине до пят пастухи-исполины
— всё стало набором игрушек из глины.

В усыпанном блёстками ватном снегу
пылает костёр. И потрогать фольгу
звезды пальцем хочется; собственно, всеми
пятью — как младенцу тогда в Вифлееме.

Тогда в Вифлееме всё было крупней.
Но глине приятно с фольгой над ней
и ватой, разбросанной тут как попало,
играть роль того, что из виду пропало.

Теперь Ты огромней, чем все они. Ты
теперь с недоступной для них высоты
— полночным прохожим в окошко конурки
из космоса смотришь на эти фигурки.

Там жизнь продолжается, так как века
одних уменьшают в объеме, пока
другие растут — как случилось с Тобою.
Там бьются фигурки со снежной крупой,

и самая меньшая пробует грудь.
И тянет зажмуриться, либо — шагнуть
в другую галактику, в гулкой пустыне
которой светил — как песку в Палестине.

Декабрь 1991

Выполните целостный анализ рассказа русского писателя *Александра Александровича Бестужева-Марлинского (1797—1837) «Часы и зеркало»*. Обратите внимание на следующие особенности его поэтики: композицию и сюжетную динамику истории; роль заглавия, художественного времени и художественных деталей в повествовании; наконец, постарайтесь сделать вывод о своеобразии авторской позиции в произведении.

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый, грамотный текст.

Часы и зеркало
(Листок из дневника)

Time steal on us and steal from us.

Byron

[Время крадетя мимо нас и крадет у нас. — Байрон (англ.)]

— Куда прикажете? — спросил мой Иван, приподняв левой рукою трехугольную шляпу, а правой завертывая ручку наёмной кареты.

— К генеральше S.! — сказал я рассеянно.

— Пошёл на Морскую! — крикнул он извозчику, хватски забегая к запяткам. Колёса грянули, и между тем как утлая карета мчалась вперёд, мысли мои полетели к минувшему.

Сколько приятных часов провёл я у генеральши S.!.. Милая дочь, умное общество, занимательная беседа, приветливое обхождение, прекрасная дочь... Ах, Боже мой, да это повторение! — поневоле приходится начинать и заключать ею — она была душой, а может, и предметом всего этого! Чад большого света не задушил в ней искренности, придворные блёстки сверкали только на её платье, но её остроумие не имело в них надобности. Весела без принуждения, скромна без жеманства, величава без гордости, она привлекала сердце очами и обворожала умы словом. Самые обыкновенные вещи, ею произносимые, принимали особую жизнь от чувства или мысли, выраженных лицом, от намёка в одушевлённых звуках голоса. Никто лучше её не умел сливать светскую ветреность с сердечною мечтательностию и, храня строгий этикет модных приличий, повелевать меж тем модою — и отлично. Всегда окружена роем комаров — остроумцев, щеголей, — мотыльков и шпанских мух — богачей, она одна как будто не замечала ни приветов, ни воздыханий, ни взоров, ни вздоров, которыми её осыпали. Стрелы паркетных купидонов отражала она своим веером — и самые меткие высыпались вон из корсета при раздеванье, вместе с лишними булавками. Не скажу, чтобы тщеславие, чтобы злословие — две стихии большого света были ей чужды, — нет! это едва ли возможно для всякой женщины и вовсе невозможно для дамы лучшего тона. Что бы заняло их дома? о чем бы стали они шептаться на балах, на съездах, на зрелищах, если б оставить в покое все репутации, все морщинки лиц и складки платьев, все ужимки и уборы присутствующих и все городские вести, изобретённые от нечего делать и повторяемые от нечего сказать? По крайней мере, она была тщеславна более по примеру, чем по сердцу; по крайней мере, насмешки её были растворены каким-то добродушием: не уязвить того, о ком велось слово, желала она, а только развеселить того, кому рассказывала. Далека от амазонского тона многих столичных ровесниц её, она терпеливо слушала лепетанье добрых, неопытных, доверчивых новичков — не превращая их в мороженое уничтожительным взором или словом, брошенным с высоты презрения, и ни одно умное словцо, ни одно острое замечание не оставалось без награды её улыбки — кем бы ни было оно сказано.

Кладу перо и хладнокровно себя спрашиваю: не мадригал ли это, сочинённый моим сердцем? Не влюблён ли я? Но что значит это слово? Я так часто был влюблён, что, мне кажется, люблю только тех, в которых не влюблялся, — следственно, не разлюбил. Нет! это не сердечное пристрастие: чувства мои к ней были нежнее приязни — но тише любви. Я досадовал, бывало, когда безотвязные пустословы мешали мне поговорить с ней, но не ревновал. Не знаю, мои ли обстоятельства или опасение не получить полной взаимности удержали меня между небом и землею, — только я не надевал на себя пёстрого колпака вздыхателей и, скрепив сердце, грелся, но не сторал её красотою. Бывало, часы летели и речь кипела ключом, когда она, сбросив светские узы жеманства вместе с тафтяными цветами и

пышными регалиями скуки, возвращалась в домашний круг свой, будто сейчас из пелён природы. Как простодушно умна, как непритворно чувствительна тогда бывала она! Я никогда не забуду последнего вечера, проведённого с нею: четыре года отлучки и бивачная, разбойничья жизнь в горах Кавказа не сгладили о том воспоминания: всё это, как вчера, у меня перед глазами.

Со мною не церемонились — я был у них почти домашний; и после обеда мать отправилась *faire la ciste* — немножко отдохнуть, чтобы не зевать на бале, на который собирались они. Мы остались у камина: брат её, кавалерист, дремал под благодарным влиянием английских угольев и только порой побрякивал шпорами: видно, мысли его танцевали тогда мазурку. Старшая, замужняя сестра Софьи занималась счётом бисера для узоров кошелька; зато мы вдвоём говорили за четверых, и речь шла, конечно, не о слезах Андромахи. Слово коснулось живых картин, и я сказал, что многие дамы наши выигрывают в них безмолвием и неподвижностью, но что все мы теряли в вашем молчании, *mademoiselle Sophie*! Правда, вы были живою мыслию живописца; вы одушевили, возвысили её собственным выражением и воображением; но одно движение, один звук вызвал бы искру восторга, который таился ещё в немом созерцании!

— Даже если б я чихнула? — лукаво спросила она, возражая на комплимент мой. — *Allons, M. Alexandre [Что вы, мсье Александр (фр.)]*, я не люблю шуму, и от высокого до смешного один шаг. Пойдемте-ка, я лучше покажу вам новую свою работу по бархату, свою совсем не живую картину! — Сказав это, она упорхнула вперёд; я предложил руку старшей сестре, которая, полушутя-полусерьёзно выговаривала Софье, что она без матушки приглашает молодого человека в свой кабинет, — но, однако ж, встала, и мы счастливо совершили суворовский переход.

Как жаль, что у нас нечем выразить английского слова *Awe*. Это не страх, не благоговение, не изумление, но что-то такое, которое имеет в себе нечто от всех трёх. Таким-то чувством бывал пронизан я, переступая порог кабинета прелестной девушки, поражён не тем, что видел там, но тем, что угадывал или воображал. Здесь при лучах утреннего солнца вода освежает её, как розу... Здесь перед зеркалом выбирает она из модной своей оружейницы (то есть гардероба) самые убийственные для нас наряды; здесь примеряет новую шляпку, новую улыбку к лицу или испытывает небрежно живописное положение; здесь повторяет нечаянные взоры, вздыхает за романом, мечтает после бала... и кто тот счастливец, о ком мечтает она? С каким-то чувством сладкого страха вступил я в комнату Софии — как будто в святилище. Некоторая таинственность, некоторый риск придавали тому ещё больше цены. Всё мне казалось там очаровательно: уборы и вкус их, свет и воздух! Бронзовые и хрустальные безделки манили взор прелестью работы или возбуждали любопытство новостью изобретения. Млечная крышка лампы проливала сияние луны; цветы и духи веяли ароматом. На канделябре висела шляпка с вуалем для гулянья по Невскому. На письменном столике, между блестящими альбомами, умирающий Малек-Адель бросал последний взор из-под английской карикатуры. Полуразрезанный роман Вальтер Скотта заложен был пригласительным билетом на бал; на недоконченном письме брошена была поддельная гирлянда, и журнал мод, развёрнутый на картинке, осенял своими крыльями Шиллера и Ламартина; полусожжённый листок из Дарленкура, служивший для зажигания кассолета, заключал картину, — словом, всё в пленительном беспорядке — то была ода в анакреонтическом роде — или, лучше, история сердца и ума светской девушки. Так я мог следить её прихоти и склонности — борьбу ветрености с жаждою познаний, с потребностью занятий душевных; желание блеснуть, нравиться и побеждать равно наружностью и умом в свете, столь скучном своими обычаями и столь милом по привычке. Привычка — вторая природа, говорят все. Мне кажется, что природа сама — первая привычка... ни больше, ни менее.

София сдёрнула покрывало с небольших пальцев, в которых натянута была бархатная белая полоса, и на ней яркими оттенками весьма искусно изображалась вязь плодов, перемешанных с цветами. Я молча глядел то на работу, то на Софью, и снова, и снова попеременно; она взглядывала то на меня, то в зеркало. «Вы настоящая Аврора, — сказал я, — под вашими перстами расцветают розы!» — «Разве маки, — возразила она, — я встаю

слишком поздно для вестниц Феба. Притом быть петербургскою зарёю значит проститься со всеми своими знакомыми — которые видят восход солнца только на Вернетовой картине!» Я уверял, что она весь свет сделает раннею птичкою, введёт в моду утренние прогулки, и все лорнеты, все трубки обратятся к востоку, подобно очам правоверных! Она возражала, что спрашивает о цветах, а не о себе. Я говорил, что невозможно, глядя на них, не вздумать о лучшем из них. Она желала знать, хороша ли работа. Я отвечал, что в отсутствие художницы она казалась бы прелестною, но при ней искусство уступает природе и краски кажутся безжизненны, что персики могли бы позавидовать пуху щек её, а розе надо бы занять у неё румянца. Она говорила, что я приветлив (*complimenteux*) слишком по-светски. Я говорил, что я слишком искренен для света. Она говорила, что иногда не понимает меня. Я говорил, что теперь и сам себя не понимаю. Она говорила, — виноват, она молчала, — но я не переставал говорить глупости — и не диво: благовонный воздух дамских кабинетов напоён их прелестями — взоры их так обворожительны, божественная заря так прилипчива! Сердце тает, язык болтает — и всё это делается, сам не знаешь как.

Било семь. «Как они отстают!» — вскричала Софья. Восклицание это доказывало нетерпение её быть на бале, где найдёт она множество поклонников, затмит многих соперниц. Я взглянул на часы едва ли не со вздохом — они врезаны были наверху большого трюмо. Странное сочетание! Урок ли это нравственности? Напоминание ли, как дорого время, или эмблема женских занятий, посвящённых зеркалу? Приятное ли, разделённое с полезным, или полезное — жертва приятному? Вероятно, мастеру, который для странности или по случаю соединил в одно эти разнородные начала, не впадало на ум ничего подобного; да и сам я подумал о том, будучи уж дома и один.

— Направо, стой! — кричит Иван... Карета остановилась; звонок дрожит на пружине, и сердце моё бьётся... Это ничего! точно так же билось оно у дверей каждого из прежних друзей моих. Радость их видеть и вместе страх увидеть остывшими или не так счастливыми, как бы хотелось, неизвестность встречи или приёма — вот что волнует грудь странника. «Принимает!» — говорит старик швейцар, вздевая очки на нос, но прежде чем он успел разглядеть и узнать меня и удивиться, что я так давно не был, — я уже на верху лестницы, я уже в гостиной. Генеральша, разговаривая с двоюродною сестрою своею, почтенною женщиною преклонных лет, раскладывала гранпасьянс. «Очень рады». — После обыкновенных расспросов, где и как был, что выслужил, я наведалься о здоровье любезной дочери. «Слава Богу, она у себя в комнате, — отвечали мне, — и будет довольна, вас увидя; не угодно ли потрудиться войти к ней?» Я удивился, но не заставил повторять себе приглашения. «Что бы это значило? — думал я... — только однажды, и то украдкою, мне посчастливилось быть у Софьи в комнате, как ни короток я был прежде в доме; а теперь меня посылают туда без провожатого! Люди или обычаи здесь изменились?» — Софья встретила меня радостным восклицанием, как старинного друга, — и в этот раз грешно бы было сомневаться в её искренности: она была так уединенна, так одинока! Она не походила на себя — на прежнюю себя. Куда девалась эта свежесть лица? этот прозрачный тонкий румянец, эта роза любви, в очах тающая? эта нежность лилейной шеи, гордой груди? Те же цветы, обновясь, красуются на её окнах, но она увяла! Неужели четыре года — век красоты? Нет: я прочитал иную повесть в томных чертах, в грустных взорах Софьи! Не от одной напряжённой жизни большого света, не от бессонницы и утомления на частых балах так быстро поблекла она, — к этому присоединились нравственные огорчения: червяк тоски тихо сточил её сердце, и роза опала, не пережив весны своей. Колесо моды вынесло вверх других красавиц, и поклонники прежней умчались вслед новых метеоров; атмосфера вздохов, которою жила, дышала Софья, — рассеялась, и она, к досаде своей, должна была ежедневно видеть успех других, поглощать своё унижение и, так сказать, украшать трофеи соперниц. Слишком строгая в выборе во время владычества — по вкусу, она и теперь не изменила себе — из гордости. Связи родства и приданое её не были так значительны, чтобы привлечь превосходительных (я не говорю, превосходных) женихов-математиков; а люди, достойные её по сердцу и летам, удалялись невесты столь высокого полёта, привыкшей к блистающей жизни, к знатному кругу знакомства, которого не могли, а может, и не желали бы поддержать. Кто знает: может, и любовь, тайная или обманутая, отвергнутая или

неразделённая?.. И это сердце, созданное для того, чтобы любить, — изныло в одиночестве среди людей, посреди шума, безответно! И эта прелестная девушка, которая бы украсила общество как супруга, как мать — отжила для надежды в двадцать три года, забыта светом, которому принесла себя в жертву. О, свет, свет! Как мало даёшь ты — за всё, что отнимаешь! Блестящи — но тяжки золотые цепи твои, и мы ещё более отягчаем их связями. Умножая наслаждения, мы умножаем страдания разлуки с ними; мы срастаемся с тобой, и рука судьбы, отрывая нас прочь, расторгает сердце!

В кабинете Софьи заметно было гораздо более порядка: всё у места, всё прибрано — теперь ей более досуга. Сама она сидела спиной к зеркалу, которое не могло уже ей показать, какова она была, — и в котором не хотела она видеть себя, какою стала. Она углублена была в чтение истории герцогов Бургундских; доказательство, что занятия её стали основательнее, — нет худа без добра. Она показалась мне любезна по-прежнему, но в остроумии её было менее живости, в эпиграммах более соли, чтоб не сказать желчи. Она смеялась — но уже этот смех обличал досаду покинутой, а не удовольствие торжествующей красоты. Разговор был более шутив, чем весел. Она просила меня рассказать поправдивее о Кавказе. «Пушкин приподнял только угол завесы этой величественной картины, — говорила она, — но господа другие поэты сделали из этого великана в ледяном венце и в ризе бурь — какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи!..» Я, как умел, вернее старался изобразить ей ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев — этот доселе живой обломок рыцарства, погасшего в целом мире. Описал жажду славы, по их образцу созданной; их страсть к независимости и разбою; их невероятную храбрость, достойную лучшего времени и лучшей цели. Беседа наша была довольно любопытна, даже занимательна — но со всем тем мы оба охотнее бы променяли все эти рассудительные разговоры на тот час, когда мы болтали вздор, склонясь над рисованными цветами!

Между прочим, Софья поздравила меня с избавлением от страсти к комплиентам. Привет это или укор? Я в самом деле не сказал ей ничего лишнего — ложь замирала у меня на устах. Женщины, однако, любят похвалы красоте своей ещё больше, когда она исчезла. В цвете они принимают их за долг, в отцвете за дар: это наши князья без княжеств, графы без графств. Сиятельство приятно им и без сияющих достоинств, как обет или воспоминание.

Наконец я взглянул на часы и встал, чтобы сойти в гостиную. «Не верьте им: они бегут!» — сказала Софья. Как много в немногих словах! Давно ли, когда надежда торжества опережала время, она говорила, глядясь в зеркало: «они отстают!» Теперь, когда вылиняли крылья радости и сердце не успевает уже за временем, теперь: «они бегут». Так, они бегут — и невозвратно! Сочетание зеркала с часами поразило меня более, чем когда-нибудь: в два раза вся история красавицы мне виделась на них начертанною; мне виделся в них живой, но бесполезный урок тщеславию.

Я вышел грустен. Случайные слова «они бегут!», «они отстают!» — произвели на меня сильное впечатление, произнесены будучи особою, столь несчастливою, но столь достойною счастья. Ровными стопами идёт время — только мы спешим жить в молодости и хотим помедлить в ней, когда она улетает, и оттого мы рано стареем без опыта иль молодимся потом без прелести. Никто не умеет пользоваться ни выгодами своего возраста, ни случаями времени, и все жалуются на часы, что они бегут или отстают. О, Софья, Софья! Не имя, а участь твоя навела на меня этот порыв *мудрости*: твои часы и зеркало ещё и теперь у меня перед глазами.

1831

Задание №2 Творческое задание

Пародии

1. Эстер Соломоновна Паперная, Александр Григорьевич Розенберг, Александр Моисеевич Финкель издали в 1925 книгу «Парнас дыбом», в которой были пародии на великих литераторов прошлого и современников. Пародии создавались на известные

фольклорные сюжеты. Например, с детских лет мы помним душещипательную историю о бабушке и его козле:

Жил-был у бабушки серенький козлик.
Вот как, вот как, серенький козлик.

Бабушка козлика очень любила.
Вот как, вот как, очень любила.

Вздумалось козлику в лес погуляти.
Вот как, вот как, в лес погуляти.

Напали на козлика серые волки.
Вот как, вот как, серые волки.

Оставили бабушке рожки да ножки.
Вот как, вот как, рожки да ножки.

Авторы «Парнаса дыбом» задумались: а как бы эту историю рассказал, например, Данте, или Шекспир, или кто-то из известных русских поэтов? Так получились блистательные пародии, передающие в гиперболизированном виде суть стиля того или иного художника.

Ваша задача — определить, чей поэтический опыт вдохновил пародистов на следующее далее стихотворение. Докажите свой ответ, «препарируя» указанное комическое произведение.

Ваша работа должна представлять собой цельный, связный, завершённый текст.

Одна в глуши лесов сосновых
Старушка дряхлая жила,
И другом дней своих суровых
Имела серого козла.
Козел, томим духовной жаждой,
В дремучий лес ушел однажды;
И растерзал его там волк.
Козлиный глас навек умолк.
Остались бабушке лишь ножки
Утехой минувших дней,
И память о козле больней,
Лишь поглядит на козьи рожки.
Одна, одна в лесной глуши
Тоскует о козле в тиши.

2. Попробуйте написать начало пародии (не менее четверостишья) на сюжет «Жил-был у бабушки серенький козлик» в стиле вашего любимого поэта (за основу возьмите одно из его значимых произведений). Сделайте так, чтобы можно было понять, какой поэтический текст вы пародируете.